
И ДЫШАТ ПОЧВА И СУДЬБА

Спустя два года после завершения романа «Доктор Живаго» Борис Пастернак писал:

«Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще не бывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней. Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность. Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит.

Надо отказаться от мысли, что все будет продолжать объявляться перед тем, как начинать существовать, и допустить возможность того времени, когда все опять будет двигаться и изменяться без предварительного объявления. Эта трудность есть и для меня. «Живаго» — это очень важный шаг, это большое счастье и удача, какие мне даже не снились. Но это сделано, и вместе с периодом, который эта книга выражает больше всего, написанного другими, книга эта и ее автор уходят в прошлое, и передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятием наполнить».

Автору этих строк за те два года, что, по воле Божьей, ему осталось прожить на свете, не пришлось выполнить сформулированную им новую задачу. Удивительно другое —

его творчество, и в особенности «Доктор Живаго», продолжают и в новых условиях оставаться величайшим художественным свидетельством не только ушедшего в прошлое обрыва жизни и уничтожения нескольких поколений незаурядно мыслящих людей, но и верного пути освобождения от последствий этого периода господства гнета и ненависти.

Крайние проявления неограниченной свободы в наше время чем-то напоминают предвоенные годы начала века, описанные в первых главах «Доктора Живаго», но при этом мы полностью лишены той нравственной и материальной основы, которая их тогда питала и сдерживала. Огромное богатство, накопленное в России к тому времени, растрчено, разграблено и пушено по ветру. Уничтожено царство исторической необходимости и преемственности.

Духовные завоевания всегда приобретались ценой недоступных здоровой оценке трагедий и жертв. Начало истории христианства в этом смысле напрашивается в сравнение с событиями XX века. Мировая война, фарисейски развязанная государствами Европы якобы в защиту малых народностей, стала началом разрушения, поставившего человечество перед перспективой всеобщей гибели. В ходе этих лет немногим удалось остаться верными жизнеутверждающим положениям своей юности в их свободном и естественном развитии.

Таков творчески одаренный Юрий Андреевич Живаго, в силу своего таланта знающий, что «единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас». Этим он не может поступиться и, не отказываясь от профессиональной врачебной, научной и литературной работы, тем не менее постепенно теряет возможность производительной, самостоятельной деятельности. Его друзья и сверстники приспособляются, изменяются и гордятся тем, что им удалось сохранить внешнюю интеллигентность и устоять. А он постепенно опускается, страдает, упрекая себя в безволии, болеет и рано умирает.

Для окружающих он попусту растративший себя и обществу лишний человек. «Не выдался, — говорит о нем дворник Маркел. — Сколько на тебя денег извели! Учился, учился, а труды прахом пошли». Он же, не кривя душой и не теряя ясности восприятия, видит страшную цену того духовного извращения, которую платят его порабощенные совре-

менники. Именно в этом смысле надо понимать фразу: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали».

Эта точная констатация разницы между творчески свободным художником и человеком, который идеализирует свою неволю, вызвала в свое время обиду многих и в значительной мере обусловила тридцатилетний запрет, наложенный на печатание романа на родине. Но в то же самое время целое поколение будущих диссидентов читало «Доктора Живаго» в запрещенных списках и иностранных изданиях, воспитывалось на нем и находило в нем жизненную опору.

В «Докторе Живаго» сильнее всего живописное (пластическое) и музыкальное (композиционное) начало. Даже в философских темах, которые Пастернаку хочется высказать с достаточной конкретностью, он не доходит до однозначности публицистического или проповеднического детерминизма. Его цель в том, чтобы дать читателю самому увидеть и продумать картины преображенной действительности. Так он дополняет вероятностную трактовку хода истории, данную у Льва Толстого, наблюдениями над природой, утверждая, что существование человечества еще не утратило своих живых возможностей, что оно, к нашей радости, осталось таким же непредсказуемым и неожиданным, как жизнь леса.

Пастернак пишет, что «история то, что называется ходом истории», Юрию Андреевичу история виделась подобием «растительного царства»:

«Зимой под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волосы на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преображается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю».

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полковод-

цами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет».

Русская революция представлялась Пастернаку главным событием века, экспериментальной проверкой социальных утопий прошлого. Его интересовали ее нравственные основы — ответ жизни на накладываемые ограничения, восстание как реакция на погранные красоту и достоинство человека. Вначале она виделась ему возмездием за извращение способности любить, восхищаясь Божьим замыслом, плодотворно и самостоятельно в нем участвовать.

При этом Пастернак с самого начала решительно осуждал политическое фарисейство, насилие и ненависть, пришедшие на смену общественным надеждам.

В лирическом сюжетном плане эти представления проявляются в отношениях Юрия Живаго, Ларисы Антиповой и Павла Антипова-Стрельникова. Юрий Андреевич подчиняется любви как высшему началу, для него это стремление сделать человека счастливым, ничего ему не навязывая, расплачиваясь ценою собственных потерь и лишений, неизбежных и обусловленных жизнью. Понимание своих возможностей перед ее лицом кладет предел его активности. Его кажущееся безволие — следствие трезвой оценки художника, свидетеля, исследователя и, наконец, врача, который должен правильно поставить диагноз и, если возможно, вылечить, то есть помочь жизни справиться с болезнью. Его творческая воля — талант, как «детская модель вселенной, заложенная с малых лет» в сердце, делает его неспособным к насильственным проявлениям, которые независимо от цели ведут к извращению и гибели. Подчиненностью воле жизненных обстоятельств объясняются бесчисленные лишения, выпавшие на его долю, потеря дома, семьи, Лары. Хотя Комаровский виноват не только в искалеченной судьбе Ларисы, но и в его собственном разорении и сиротстве, Живаго сразу теряет способность отстаивать любимую женщину, лишь только она по своей воле встает на сторону чуждой подчиняющей силы.

«Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливейшая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно», — писал Пастернак, характеризуя свойства таланта.

Единственный волевой поступок Юрия Андреевича, его рискованный побег из партизанского лагеря, побег к Ларе,

освобождение из плена, оказывается возможен благодаря благоприятному стечению обстоятельств. Жизнь и природа покровительствуют им и строят их любовь. «Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака, деревья... Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспмятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее наслаждение общей лепкой мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной»...

О большой прозе Пастернак мечтал в течение всей жизни, но попытки, предпринимаемые им ранее, затягиваясь на годы, оставались неоконченными. Отрывки, публиковавшиеся в газетах и журналах 1930-х годов, передавали картины и бытовые зарисовки дореволюционных лет России. Но автора мучило и останавливало в работе отсутствие «единства в понимании вещей». Такое понимание пришло в конце войны, когда возникло отчетливое ощущение присутствия Божия в историческом существовании России. Оно пришло, когда не сломленный годами террора народ нашел в себе силы противостоять злу фашистской чумы и ценой огромных потерь, несравнимых даже с немецкими, одержать победу в Отечественной войне.

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в шепу
И всех поставить на колени...

Во времена самого тяжелого гнета Пастернак был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества.

«Если Богу угодно будет и я не ошибаюсь, — писал он летом 1944 года, — в России скоро будет яркая жизнь, захватывающе новый век и еще раньше, до наступления этого благополучия в частной жизни и обиходе, — поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувст-

вие этого заслоняет мне все остальное: неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности, домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати и политики и пр. и пр. Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движением».

Пробудившиеся после победы в войне надежды на либерализацию общества укрепили Пастернака в его замысле и дали силу приступить к работе, которую он считал своим пожизненным долгом. Несмотря на то, что этим веяниям скоро был положен конец, намерение писать роман стало внутренней необходимостью.

«Доктор Живаго» был начат в декабре 1945 года, последние изменения в его текст были внесены в декабре 1955-го.

Сознание неотвратимости крестного пути как залога бессмертия выражено в стихотворении «Гамлет», открывающем тетрадь Юрия Живаго:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Первоначальный план романа был с самого начала уже совершенно оформлен, и Пастернак рассчитывал быстро его написать.

«Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое...

Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным», — писал Пастернак в октябре 1946 года.

«Смерти не будет» — первое название романа в карандашной рукописи 1946 года. Здесь же эпиграф из Откровения Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую слезу с очей

их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопль, ни болезни уже не будет, ибо прежнее пошло». Трактовка этих слов дается в романе в сцене у постели умирающей Анны Ивановны Громеко. Бессмертие души для Живаго — следствие деятельной любви к ближнему: «Человек в других людях и есть душа человека».

Рисуя время своей молодости и молодости тех «мальчиков и девочек», которые составили славу русского религиозно-философского возрождения, Пастернак определял его духовную атмосферу как смесь идей Достоевского, Соловьева, Толстого, социализма и новейшей поэзии, что, вполне уживаясь вместе, составляло «новую, необычайно свежую фазу христианства».

Надежды этого поколения были сметены исторической бурей, на смену которой пришло новое язычество «оспою нарытых Калигул» (портрет Сталина), не подозревавших, «как бездарен всякий поработитель». Простота и правда явления Христа противопоставлены помпезности сталинского стиля вампир.

Автор рисует, как в мир «мраморной и золотой безвкусицы» (это не о Древнем Риме, а о нашей современности!) входит «легкий и одетый в сияние» Христос, «намеренно провинциальный, галилейский», и мир начинается заново: «Народы и боги прекратились, и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек — пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

Стихотворения Юрия Живаго составляют заключительную главу романа. Создавая их от имени своего героя, Пастернак обрел новую свободу и глубину лирического самовыражения. Они освобождены от биографической узости и свойственной ранней поэзии Пастернака нагнетенной метафоричности, тем самым становясь отражением обобщенного опыта поколения. Пастернак писал, что Юрий Живаго «должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским». Это позволило значительно расширить круг тем, что в первую очередь относится к стихотворениям евангельского цикла, написанным с точки зрения прямого свидетеля событий Священной истории.

Роман «Доктор Живаго» лишен каких-либо дидактических тенденций, что помогло ему найти благодарный отклик в душах людей, на что надеялся его автор, когда писал: «От-

личие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях, независимо от того, читают ее или не читают. Это — гордое, покоящееся в себе и самодовлеющее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незаблемость и непогрешимость.

Но настоящему искусству, в моем понимании, далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей. Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника, как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться».

Надежды автора оправдались. Картинами полувекового обихода называл Пастернак свой роман о докторе Живаго. По прошествии второй половины века и на рубеже нового он продолжает волновать читателей и находить живой отклик в их душах.

ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАК



Первая книга



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ

1

Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали:

«Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». — «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Ее». — «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марию Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. От барабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьюми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат

покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые перебивания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации металась как бесноватые, и ложились на дорогу.

Ночью Юра разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подокон-

ника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откапают, то, что в поле замет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок, прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дом Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносились их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за

просекой через дорогу перебежали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер.

Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

4

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская, разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

— А эти, — спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутуло и перекинув ногу за ногу, в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию, — а это как же, помещиковы или крестьянские?

— Энти господсти, — отвечал Павел и закуривал, — а вот эфти, — отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону, — эфти свои. Ай заснули? — то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямокой бесхитростной натуры, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и

знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала впри-
сядку под брэнчание бубенчиков, которое сама своими
скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову коррек-
туру его книжки по земельному вопросу, которую
ввиду усилившегося цензурного нажима издательство
просило пересмотреть.

— Шалит народ в уезде, — говорил Николай Нико-
лаевич. — В Паньковской волости купца зарезали, у
земского сожгли конный завод. Ты как об этом дума-
ешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще
мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные стра-
сти Воскобойникова.

— Да что говорят? Распустили народ. Баловство,
говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужуку
дай волю, так ведь у нас друг дружку передают, истин-
ный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуп-
лянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий
раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каем-
кой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось,
что он узнает то место, с которого дорога должна по-
вернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту
скрыться десятиверстная колодривовская панорама с
блещущей вдали рекой и пробегающей за ней желез-
ной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись
полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих
просторов настраивала на широкий лад. Хотелось меч-
тать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Ни-
колая Николаевича, не была еще написана. Но мысли
его уже определились. Он не знал, как близко его
время.

Скоро среди представителей тогдашней литерату-
ры, профессоров университета и философов револю-
ции должен был появиться этот человек, который
думал на все их темы и у которого, кроме термиоло-
гии, не было с ними ничего общего. Все они скопом
держались какой-нибудь догмы и довольствовались

словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей, он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обесмыслятся.

Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который, наверное, презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

5

— Жизненным нервом проблемы пауперизма, — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

— Я думаю, лучше сказать — существом, — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные са-

поги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.

— Между тем статистика смертей и рождений показывает, — диктовал Николай Николаевич.

— Надо вставить: за отчетный год, — говорил Иван Иванович и записывал.

Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.

Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.

— Гроза надвигается. Надо собираться.

— И не думайте. Не пущу. Сейчас будем чай пить.

— Мне к вечеру надо обязательно в город.

— Ничего не поможет. Слышать не хочу.

Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведенье, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться.

— Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю, — предложил Иван Иванович.

Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда. Аллея густо заросла травой. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги.

Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи,

которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе.

Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.

— Попадаются люди с талантом, — говорил Николай Николаевич. — Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять вы ничегошеньки не поняли.

— Мда, — мычал Иван Иванович, тонкий белокурый выюн с ехидною бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна (он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами). — Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете — я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?

— Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению.

Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем это главные составные части современного человека, без которых он немислим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспую изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий порабититель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме. Уф, аж взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове!

— Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого мой желудок не варит.

— Ну да бог с вами. Бросим. Счастливеец! Вид-то от вас какой — не налюбуеться! А он живет и не чувствует.

На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками.

— Подумайте, только шестой час, — сказал Иван Иванович. — Видите, скорый из Сызрани. Он тут проходит в пять с минутами.

Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвились белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки.

— Странно, — сказал Воскобойников. — Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить.

6

Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними и Юра ему не пара. Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома.

Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал, ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.

Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном Священном писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами.

— Ангеле Божий, хранителю мой святой, — молил ся Юра, — утверди ум мой во истинном пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в раи, идеже лица святых и праведницы сияют яко светила. Мамочка была такая хорошая, не может

быть, чтобы она была грешница, помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка! — в душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новопритченную угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.

— Подождет. Потерпит, — как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

7

В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры.

Мальчик с отцом третий день находился в поезде.

Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, что возы стоят не двигаясь, а лошади поднимают и опускают ноги на одном месте.

На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов.

Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечную пружину оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало.

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?

Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиной смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым.

И, делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, которой они не в силах расхлебать.

Он был уверен, что, когда вырастет, он все это распутает.

Вот и сейчас, никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют.

Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости.

Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие — что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина, наверное, уже в пути.

В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами сидящие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирной косметикой. Когда они проходили мимо гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: «Ах, скажите, пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты! Мы не можем!»

Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом вымарки. Кровь казалась не его кровью, вытекшею из него, а приставшим посторонним придатком, пластырем, или брызгом присохшей грязи, или мокрым березовым листком.

Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро, без выражения стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное в вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки».

К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкой. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались.

Муж Тиверзиной сторел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от трупа, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано, — как бы говорила она. — Какой по произволению Божию, а тут, вишь, такой стих нашел — от богатой жизни и ошаления рассудка».

Все пассажиры поезда перебивали около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высо-

ком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастья.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада.

Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов.

— Ах вот как? — удивлялся он разъяснениям Гордона. — Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее.

Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку.

Отец говорил, что это известный богач, добряк и шалопут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене, потом переходил к своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться. К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книж-

ные стойки и продавали игры и достопримечательности края.

Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц и, когда протрезвляется хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления.

За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с поезда.

Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке — последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочили следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городских. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.

8

«Опять это лампадное масло!» — злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати, воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая Ника залез под вторую.

Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню.

— Ну что ж делать, — сказал Веденяпин, — пройдись, Юра, может быть, после найдется товарищ, поиграете.

Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой унижительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк.

Он был сегодня сам не свой и предшествующую

ночь не спал. Ему шел четырнадцатый год. Ему надое-ло быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Выходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одурающее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки.

Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея-медянка. Ника вздрогнул.

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам.

«Как хорошо на свете! — подумал он. — Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он — это я. Вот я велю ей, — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), — вот я прикажу ей...» — И в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку.

Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжен Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся — бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками.

Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу немыслимо нежных и дурацких прозвищ вроде Иночек или Ноченька и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились.

Это был какой-то неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими на слоновьи уши, он огораживал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево — растение, а не животное.

Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии.

Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их проучит!

А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним как с маленьким? Вот он ей покажет! «Я ее ненавижу, — несколько раз повторил он про себя. — Я ее убью! Я позову ее кататься на лодке и утоплю».

Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова, когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе, а просто-напросто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глупой яме. Но он их всех перехитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь.

Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрзала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза.

Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервушийся и тугой как резина стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку как багром подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались, белые цветы с яркою, как желток с кровью, сердцевинкой уходили под воду и выныривали со льющеюся из них водою.

Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накрывая лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту.

— Надоело учиться, — сказал Ника. — Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.

— А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзаменовкой.

Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения! А они еще и не нюхали алгебры.

Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо:

— Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?

— О, это еще так далеко. Вероятно, ни за кого. Я пока не думала.

— Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно.

— Тогда зачем ты спрашиваешь?

— Ты дура.

Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что, если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит.

— Попробуй, — сказала Надя.

Он схватил ее поперек туловища. Между ними завязалась драка. Они потеряли равновесие и полетели в воду.

Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги, а дна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тине, они выбрались на берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника.

Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокры-мокрешеньки вдвоем после такой переправы, они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали.

А теперь они молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкою ноги и руки и продавили ребра.

Наконец тихо, как взрослая, Надя проронила:
— Сумасшедший! — и он также по-взрослому ска-
зал:

— Прости меня.

Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями, не вдалеке от того места, где Ника утром увидал медянку.

Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее всемогущество, когда он по своему произволу повелевал природой. Что приказать ей сейчас? — подумал он. Чего бы ему больше всего хотелось? Ему представилось, что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею и много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОГО КРУГА

1

Война с Японией еще не кончилась. Неожиданно ее заслонили другие события. По России прокатывались волны революции, одна другой выше и невиданней.

В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою. Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь в женскую гимназию, по случайности ту самую и тот же самый класс, в котором училась Надя Кологризова.

У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триум-

фальных ворот, у наследников портнихи, с правом сохранения старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами.

Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты «Черногория» в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Лару в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела.

2

Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в «Черногории».

Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий».

Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество меблировки. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов.

Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятие.

В «Черногории» они занимали двадцать третий номер, а в двадцать четвертом со дня основания номеров жил виолончелист Тышкевич, потливый и лысый доб-

ряк в паричке, который молитвенно складывал руки и прижимал их к груди, когда убеждал кого-нибудь, и закидывал голову назад и вдохновенно закатывал глаза, играя в обществе и выступая на концертах. Он редко бывал дома и на целые дни уходил в Большой театр или консерваторию. Соседи познакомились. Взаимные одолжения сблизили их.

Так как присутствие детей иногда стесняло Амалию Карловну во время посещений Комаровского, Тышкевич, уходя, стал оставлять ей ключ от своего номера для приема ее приятеля. Скоро мадам Гишар так свыклась с его самопожертвованием, что несколько раз в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего покровителя.

3

Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады.

Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы-Товарной.

Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Лара.

Все оставалось, как при Левицкой. Как очумелые, крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекрыть стук швейных машин и переливчатые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка.

В приемной дамы живописной группой окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблока-

чивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом на директорском месте сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц, Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек.

Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, шурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса и пожелания толпившихся заказчиц.

Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою. Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться. Тем не менее время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук.

Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину и мимоходом пугая переодетых франтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед: «Пожаловал», «Ейный», «Амалькина присуха», «Буйвол», «Бабыя порча».

Предметом еще большей ненависти был его бульдог Джек, которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за поводырем.

Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и рязорвал ей чулок.

— Я его смертью изведу, нечистую силу, — по-детски прохрипела Ларе на ухо Оля Демина.

— Да, в самом деле противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь?

— Тише ты, не ори, я вас научу. Вот яйца есть на

Пасху каменные. Ну вот у вашей маменьки на моде...

— Ну да, мраморные, хрустальные.

— Ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в сале, сало пристанет, наглотается он, паршивый пес, набьет, сатана, пестерь, и — шабаш! Кверху лапки! Стекло!

Лара смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского. Яйца, Джек — откуда что берется? «За что же мне такая участь, — думала Лара, — что я все вижу и так о всем болею?»

4

«Ведь для него мама — как это называется... Ведь он — мамин, это самое... Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь».

Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой.

Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете.

Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей, а для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминым поручениям. Она двига-

лась бесшумно и плавно, и все в ней — незаметная бы- строта движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос — было под стать друг другу.

Было воскресенье, середина июля. По праздникам можно было утром понежиться в постели подольше. Лара лежала на спине, закинув руки назад и поло- жив их под голову.

В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на улицу было отворено. Лара слышала, как громыхав- шая вдаль пролетка съехала с булыжной мостовой в желобок коночного рельса и грубая стукотня смени- лась плавным скольжением колеса как по маслу. «Надо поспать еще немного», — подумала Лара. Рокот города усыплял, как колыбельная песня.

Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками — выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное — более или менее она сама, ее душа или сущность, стройно вложенная в очертания и от- зывчиво рвущаяся в будущее.

«Надо уснуть», — думала Лара и вызывала в вообра- жении солнечную сторону Каретного ряда в этот час, сараи экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, граненое стекло каретных фонарей, медвежьи чучела, богатую жизнь. А немного ниже, в мыслях рисовала себе Ла- ра, — учение драгун во дворе Знаменских казарм, чин- ные ломающиеся лошади, идущие по кругу, прыжки с разбега в седла и проездка шагом, проездка рысью, проездка вскачь. И разинутые рты няnek с детьми и кормилиц, рядами прижавшихся снаружи к казармен- ной ограде. А еще ниже, думала Лара, — Петровка, Петровские линии.

«Что вы, Лара! Откуда такие мысли? Просто я хочу показать вам свою квартиру. Тем более что это рядом».

Была Ольга, у его знакомых в Каретном маленькая дочь-именинница. По этому случаю веселились взрос- лые — танцы, шампанское. Он приглашал маму, но ма- ма не могла, ей нездоровилось. Мама сказала: «Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете: «Амалия, бере-

гите Лару». Вот теперь и берегите ее». И он ее берег, нечего сказать! Ха-ха-ха!

Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали не одетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвастовства, чтобы показать, какая ты уже большая.

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным.

Бросить эти глупости. Раз навсегда. Не разыгрывать простушки, не умильничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь плохо кончится. Тут совсем рядом страшная черта. Ступить шаг, и сразу же летишь в пропасть. Забыть думать о танцах. В них все зло. Не стесняться отказывать. Выдумать, что не училась танцевать или сломала ногу.

5

Осенью происходили волнения на железных дорогах московского узла. Забастовала Московско-Казанская железная дорога. К ней должна была примкнуть Московско-Брестская. Решение о забастовке было принято, но в комитете дороги не могли столкнуться о дне ее объявления. Все на дороге знали о забастовке, и требовался только внешний повод, чтобы она началась самочинно.

Было холодное пасмурное утро начала октября. В этот день на линии должны были выдавать жалование. Долго не поступали сведения из счетной части. Потом в контору прошел мальчик с табелью, выплатной ведомостью и грудой отобранных с целью взыска-

ния рабочих книжек. Платеж начался. По бесконечной полосе незастроенного пространства, отделявшего вокзал, мастерские, паровозные депо, пакгаузы и рельсовые пути от деревянных построек правления, потянулись за заработком проводники, стрелочники, слесаря и их подручные, бабы-поломойки из вагонного парка.

Пахло началом городской зимы, топтаным листом клена, талым снегом, паровозной гарью и теплым ржаным хлебом, который выпекали в подвале вокзального буфета и только что вынули из печи. Приходили и уходили поезда. Их составляли и разбирали, размахивая свернутыми и развернутыми флагами. На все лады заливались рожки сторожей, карманные свистки сцепщиков и басистые гудки паровозов. Столбы дыма бесконечными лестницами подымались к небу. Растопленные паровозы стояли, готовые к выходу, обжигая холодные зимние облака кипящими облаками пара.

По краю полотна расхаживали взад и вперед начальник дистанции инженер путей сообщения Фуфлыгин и дорожный мастер привокзального участка Павел Ферапонтович Антипов. Антипов надоедал службе ремонта жалобами на материал, который отгружали ему для обновления рельсового покрова. Сталь была недостаточной вязкости. Рельсы не выдерживали пробы на прогиб и излом и по предположениям Антипова должны были лопаться на морозе. Управление относилось безучастно к жалобам Павла Ферапонтовича. Кто-то нагревал себе на этом руки.

На Фуфлыгине была расстегнутая дорогая шуба с путевым кантиком и под нею новый штатский костюм из шевиота. Он осторожно ступал по насыпи, любясь общей линией пиджачных бортов, правильностью брючной складки и благородной формой своей обуви.

Слова Антипова влетали у него в одно ухо и вылетали в другое. Фуфлыгин думал о чем-то своем, каждую минуту вынимал часы, смотрел на них и куда-то торопился.

— Верно, верно, батюшка, — нетерпеливо прерыва-

вал он Антипова, — но это только на главных путях где-нибудь или на сквозном перегоне, где большое движение. А вспомни, что у тебя? Запасные пути какие-то и тупики, лопух да крапива, в крайнем случае — сортировка порожняка и разъезды маневровой «кукушки». И он еще недоволен! Да ты с ума сошел! Тут не то что такие рельсы, тут можно класть деревянные.

Фуфлыгин посмотрел на часы, захлопнул крышку и стал вглядываться в даль, откуда к железной дороге приближалась шоссейная. На повороте дороги показались коляска. Это был свой выезд Фуфлыгина. За ним пожаловала жена. Кучер остановил лошадей почти у полотна, все время сдерживая их и потпрукивая на них тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев, — лошади пугались железной дороги. В углу коляски, небрежно откинувшись на подушки, сидела красивая дама.

— Ну, брат, как-нибудь в другой раз, — сказал начальник дистанции и махнул рукой — не до твоих, мол, рельсов. Есть поважнее материи.

Супруги укатили.

6

Через часа три или четыре, поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле как из-под земли выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин.

— Пойдем скорее, — сказал Тиверзин. — Я не спигов остерегаюсь, как бы не выследили, а сейчас кончится эта волынка, вылезут они из землянки и нагонят. А я их видеть не могу. Когда все так тянуть, незачем и огород городить. Ни к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю! И ты тоже хорош, эту размазню с Николаевской поддерживаешь.

— У моей Дарьи тиф брюшной. Мне бы ее в больницу. Покамест не сведу, ничего в голову не лезет.

— Говорят, выдают сегодня жалованье. Схожу в

контору. Не платежный бы день, вот как перед Богом, плюнул бы я на вас и, не медля ни минуты, своей упрямой положил бы конец гомозне.

— Это, позвольте спросить, каким же способом?

— Дело нехитрое. Спустился в котельную, дал свисток — и кончен бал.

Они простились и пошли в разные стороны.

Тиверзин шел по путям в направлении к городу. Навстречу ему попадались люди, шедшие с получкою из конторы. Их было очень много. Тиверзин на глаз определил, что на территории станции расплатились почти со всеми.

Стало смеркаться. На открытой площадке возле конторы толпились незанятые рабочие, освещенные конторскими фонарями. На въезде к площадке стояла фуфлыгинская коляска. Фуфлыгина сидела в ней в прежней позе, словно она с утра не выходила из экипажа. Она дождалась мужа, получавшего деньги в конторе.

Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. Кучер слез с козел и стал поднимать кожаный верх. Пока, упершись ногой в задок, он растягивал тугие распорки, Фуфлыгина любовалась бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей. Она бросала немигающий мечтательный взгляд поверх толпившихся рабочих с таким видом, словно в случае необходимости этот взгляд мог бы пройти без ущерба через них насквозь, как сквозь туман или изморось.

Тиверзин случайно подхватил это выражение. Его покорило. Он прошел, не поклонившись Фуфлыгиной, и решил зайти за жалованьем попозже, чтобы не сталкиваться в конторе с ее мужем. Он пошел дальше, в менее освещенную сторону мастерских, где чернел поворотный круг с расходящимися путями в паровозное депо.

— Тиверзин! Куприк! — окликнули его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал и слышался плач ребенка. — Киприян Савельевич, заступитесь за мальчика, — сказала из толпы какая-то женщина.

Старый мастер Петр Худолеев опять по обыкновению лупцевал свою жертву, малолетнего ученика Юсупку.

Худолеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку драчуном. Когда-то на бравого мастерского заглядывались купеческие дочери и поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать Тиверзина, в то время выпускница-епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища, паровозного машиниста Савелия Никитича Тиверзина.

На шестой год ее вдовства, после ужасной смерти Савелия Никитича (он сгорел в 1888 году при одном нашумевшем в то время столкновении поездов), Петр Петрович возобновил свое искательство, и опять Марфа Гавриловна ему отказала. С тех пор Худолеев запил и стал буяннить, сводя счеты со всем светом, виноватым, как он был уверен, в его нынешних неурядицах.

Юсупка был сыном дворника Гимазетдина с тиверзинского двора. Тиверзин покровительствовал мальчику в мастерских. Это подогревало в Худолееве неприязнь к нему.

— Как ты напилкок держишь, азиат! — орал Худолеев, таская Юсупку за волосы и костыляя по шее. — Нешто так отливку обдирают? Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, касимовская невеста, алла мулла косые глаза?

— Ай не буду, дяинька, ай не буду, не буду, ай больно!

— Тыщу раз ему сказывали, вперед подведи бабку, а тады завинчивай упор, а он знай свое, знай свое. Чуть мне шпентель не сломал, сукин сын.

— Я шпиндил не трогал, дяинька, ей-богу, не трогал.

— За что ты мальчика тиранить? — спросил Тиверзин, протиснувшись сквозь толпу.

— Свои собаки грызутся, чужая не подходи, — отрезал Худолеев.

— Я тебя спрашиваю, за что ты мальчика тиранить?

— А я тебе говорю, проходи с Богом, социал-ко-

мандир. Его убить мало, сволочь этакую, чуть мне шпентель не сломал. Пушай мне руки целует, что жив остался, косой черт, — уши я ему только надрал да за волосы поучил.

— А что же, по-твоему, ему за это надо голову оторвать, дядя Худолей? Постыдился бы, право. Старый мастер, дожил до седых волос, а не нажил ума.

— Проходи, проходи, говорю, покуда цел. Дух из тебя я вышибу — учить меня, собачье гузно! Тебя на шпалах делали, севрюжья кровь, у отца под самым носом. Мать твою, мокрохвостку, я во как знаю, кошку драную, трепаный подол!

Все происшедшее дальше заняло не больше минуты. Оба схватили первое, что подвернулось под руку на подставках станков, на которых валялись тяжелые инструменты и куски железа, и убили бы друг друга, если бы народ в ту же минуту не бросился кучею их разнимать. Худолеев и Тиверзин стояли, нагнув головы и почти касаясь друг друга лбами, бледные, с налившимися кровью глазами. От волнения они не могли выговорить ни слова. Их крепко держали, ухвативши сзади за руки. Минутами, собравшись с силой, они начинали вырываться, извиваясь всем телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у них на одежде пообрывались, куртки и рубахи сползли с оголившихся плеч. Нестройный гам вокруг них не умолкал:

— Зубило! Зубило у него отыми — проломит башку.

— Тише, тише, дядя Петр, вывернем руку!

— Это все так с ними хороводиться? Растащить врозь, посадить под замок — и дело с концом.

Вдруг нечеловеческим усилием Тиверзин стряхнул с себя клубок навалившихся тел и, вырвавшись от них, с разбега очутился у двери. Его кинулись было ловить, но, увидав, что у него совсем не то на уме, оставили в покое. Он вышел, хлопнув дверью, и зашагал вперед не оборачиваясь. Его окружала осенняя сырость, ночь, темнота.

— Ты им стараешься добро, а они нороят тебе нож в ребро, — ворчал он и не сознавал, куда и зачем идет.

Этот мир подлости и подлога, где разевшаяся ба-рынька смеет так смотреть на дуралеев-тружеников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольствие в глумлении над себе подобным, этот мир был ему сейчас ненавистнее, чем когда-либо. Он шел быстро, словно поспешность его походки могла приблизить время, когда все на свете будет разумно и стройно, как сейчас в его разгоряченной голове. Он знал, что их стремления последних дней, беспорядки на линии, речи на сходках и их решение бастовать, не приведенное пока еще в исполнение, но и не отмененное, — все это отдельные части этого большого и еще предстоящего пути. Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать все это расстояние разом, не переводя дыхания. Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его.

Тиверзин долго не подозревал, что после ухода его и Антипова из землянки на заседании было постановлено приступить к забастовке в этот же вечер. Члены комитета тут же распределили между собой, кому куда идти и кого где снимать. Когда из паровозоремонтного, словно со дна тиверзинской души, вырвался хриплый, постепенно прочищающийся и выравнивающийся сигнал, от входного семафора к городу уже двигалась толпа из депо и с товарной станции, сливаясь с новой толпой, побросавшей работу по тиверзинскому свистку из котельной.

Тиверзин много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движение на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательства к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения.

Выбегали, спрашивали:

— Куда народ свищут?

Из темноты отвечали:

— Небось и сам не глухой. Слышишь — тревога.

Пожар тушить.

— А где горит?

— Стало быть, горит, коли свищут.

Хлопали двери, выходили новые. Раздавались другие голоса:

— Толкуй тоже — пожар! Деревня! Не слушайте дурака. Это называется зашабашили, понял? Вот хомут, вот дуга, я те больше не слуга. По домам, ребята.

Народу все прибывало. Железная дорога забастовала.

7

Тиверзин пришел домой на третий день, продрогший, невыспавшийся и небритый. Накануне ночью грянул мороз, небывалый для таких чисел, а Тиверзин был одет по-осеннему. У ворот встретил его дворник Гимазетдин.

— Спасибо, господин Тиверзин, — зарядил он. — Юсуп обида не давал, заставил век Бога молить.

— Что ты, очумел, Гимазетдин, какой я тебе господин? Брось ты это, пожалуйста. Говори скорее, видишь, мороз какой.

— Зачем мороз, тебе тепло, Савельич. Мы вчерашний день твой мамаша Марфа Гавриловна Москва-Товарная полный сарай дров возили, одна береза, хорошие дрова, сухие дрова.

— Спасибо, Гимазетдин. Ты еще что-то сказать хочешь, скорее, пожалуйста, озяб я, понимаешь.

— Сказать хотел, дома не ночуй, Савельич, хорошо надо. Постовой спрашивал, околоточный спрашивал, кто, говорит, ходит. Я говорю, никто не ходит. Помощник, говорю, ходит, паровозная бригада ходит, железная дорога ходит. А чтобы кто-нибудь чужой — ни-ни!

Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым младшим братом, принадлежал соседней церкви Святой Троицы. Дом этот был заселен некоторою частью причта, двумя артелями фруктовщиков и мясников, торговавших в городе с лотков

вразнос, а по преимуществу мелкими служащими Московско-Брестской железной дороги.

Дом был каменный с деревянными галереями. Они с четырех сторон окружали грязный немощенный двор. Вверх по галереям шли грязные и скользкие деревянные лестницы. На них пахло кошками и квашеной капустой. По площадкам лепились отхожие будки и кладовые под висячими замками.

Брат Тиверзина был призван рядовым на войну и ранен под Вафангоу. Он лежал на излечении в Красноярском госпитале, куда для встречи с ним и принятия его на руки выехала его жена с двумя дочерьми. По томственные железнодорожники Тиверзины были легки на подъем и разъезжали по всей России по даровым служебным удостоверениям. В настоящее время в квартире было тихо и пусто. В ней жили только сын да мать.

Квартира помещалась во втором этаже. Перед входною дверью на галерее стояла бочка, которую наполнил водой водовоз. Когда Киприан Савельич поднялся в свой ярус, он обнаружил, что крышка с бочки сдвинута набок и на обломке льда, сковавшего воду, стоит примерзшая к ледяной корочке железная кружка. «Не иначе Пров, — подумал Тиверзин, усмехнувшись. — Пьет, не напьется, прорва, огненное нутро».

Пров Афанасьевич Соколов, псаломщик, видный и нестарый мужчина, был дальним родственником Марфы Гавриловны.

Киприан Савельевич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул крышку на бочку и дернул ручку дверного колокольчика. Облако жилого духа и вкусного пара двинулось ему навстречу.

— Жарко истопили, маменька. Тепло у нас, хорошо.

Мать бросилась к нему на шею, обняла и заплакала. Он погладил ее по голове, подождал и мягко отстранил.

— Смелость города берет, маменька, — тихо сказал он, — стоит моя дорога от Москвы до самой Варшавы.

— Знаю. Оттого и плачу. Несдобровать тебе. Убраться бы тебе, Купринька, куда-нибудь подальше.

— Чуть мне голову не проломил ваш миленький дружок, любезный пастушок ваш, Петр Петров.

Он думал рассмешить ее. Она не поняла шутки и серьезно ответила:

— Грех над ним смеяться, Купринька. Ты б его пожалел. Отпетый горемыка, погибшая душа.

— Забрали Антипова Пашку. Павла Ферапонтовича. Пришли ночью, обыск, все перебуторили. Утром увели. Тем более Дарья его, тиф это, в больнице. Павлушка малый, в реальном учится, один в доме с теткой глухой. Притом гонят их с квартиры. Я считаю, надо мальчика к нам. Зачем Пров заходил?

— Почем ты знаешь?

— Бочка, вижу, не покрыта и кружка стоит. Обязательно, думаю, Пров бездонный воду хлобыстал.

— Какой ты догадливый, Купринька. Твоя правда. Пров, Пров, Пров Афанасьевич. Забежал попросить дров взаймы — я дала. Да что я, дура, — дрова! Совсем из головы у меня вон, какую он новость принес. Государь, понимаешь, манифест подписал, чтобы все перевернуть по-новому, никого не обижать, мужикам землю и всех сравнять с дворянами. Подписанный указ, ты что думаешь, только обнародовать. Из синода новое прошение прислали, вставить в ектинью, или там какое-то моление заздравное, не хочу врать. Провушка сказывал, да я вот запомнявала.

8

Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтовича и помещенной в больницу Дарьи Филимоновны, поселился у Тиверзиных. Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их по минутно приглаживал щеткою и по минутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал.

Вскоре после Манифеста семнадцатого октября задумана была большая демонстрация от Тверской заставы к Калужской. Это было начинание в духе поговорки «У семи нянек дитя без глаза». Несколько революционных организаций, причастных к затее, перегрызлись между собой и одна за другой от нее отступились, а когда узнали, что в назначенное утро люди все же вышли на улицу, наскоро послали к манифестантам своих представителей.

Несмотря на отговоры и противодействие Киприяна Савельевича, Марфа Гавриловна пошла на демонстрацию с веселым и общительным Патулей.

Был сухой морозный день начала ноября, с серосвинцовым спокойным небом и реденькими, почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво вились, перед тем как упасть на землю и потом серую пушистой пылью забиться в дорожные колдобины.

Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимние пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты.

Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвою пали» и «Марсельезу», но вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами зажатой в руке кубанки дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой мостовой. Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди подстерегают казаки. О готовящейся засаде телефоновали в близлежащую аптеку.

— Так что же, — говорили распорядители. — Тогда главное — хладнокровие и не теряться. Надо немедленно занять первое общественное здание, какое попадется по дороге, объявить людям о грозящей опасности и расходиться поодиночке.

Заспорили, куда будет лучше всего. Одни предлагали в Общество купеческих приказчиков, другие — в Высшее техническое, третьи — в Училище иностранных корреспондентов.

Во время этого спора впереди показался угол казенного здания. В нем тоже помещалось учебное заведение, годившееся в качестве прибежища ничуть не хуже перечисленных.

Когда идущие поравнялись с ним, вожаки поднялись на полукруглую площадку подъезда и знаками остановили голову процессии. Многостворчатые двери входа открылись, и шествие в полном составе, шуба за шубой и шапка за шапкой, стало вливаться в вестибюль школы и подниматься по ее парадной лестнице.

— В актовЫй зал, в актовЫй зал! — кричали сзади единичные голоса, но толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным коридорам и классам.

Когда публику все же удалось вернуть и все расселись на стульях, руководители несколько раз пытались объявить собранию о расставленной впереди ловушке, но их никто не слушал. Остановка и переход в закрытое помещение были поняты как приглашение на импровизированный митинг, который тут же и начался.

Людыа после долгого шагания с пением хотелось посидеть немного молча и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием отдыха безразличны были ничтожные разногласия говоривших, почти во всем солидарных друг с другом.

Поэтому наибольший успех выпал на долю наилучшего оратора, не утомлявшего слушателей необходимостью следить за ним. Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним торопились согласиться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста и вдруг, наскучив однообразием его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом толпой